вторая партия

ВОЛГА ВПАДАЕТ В СЕНТЯБРЬ



Елена Копс

детективный роман

Елена Копс

Вторая партия. Волга впадает в сентябрь

Серия «Вторая партия», книга 1

https://litres.ru/74703697
SelfPub; 2026

Аннотация

Двенадцать дней на теплоходе «Герда» среди музыки, осенних пейзажей Волги и застарелых обид. Альтистка Варвара привыкла играть «вторую партию» — и в оркестре, и в жизни. Отправляясь в гастрольный рейс, она меньше всего ждала драматических развязок от встречи с бывшим мужем — властным дирижёром Аркадием.

Всё рушится ночью в Плёсе: Аркадия находят мёртвым на причале, а теплоход оказывается отрезан от суши густым непроницаемым туманом. Круг подозреваемых замкнут — тридцать музыкантов и экипаж. И у каждого найдётся свой секрет: от финансовых афер до тайны поддельной старинной скрипки.

Варвара — последняя, с кем погибший говорил накануне. Чтобы снять с себя подозрения, «второй скрипке» придётся расслышать фальшь среди близких людей и найти настоящего убийцу.

Атмосферный герметичный детектив, сочетающий тонкий психологизм, очарование осенней Волги и изящную классическую интригу.

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 31
Глава 3 61
Конец ознакомительного фрагмента. 80

Елена Копс
Вторая партия. Волга впадает в сентябрь

Глава 1

Альт достаётся людям по причинам, как правило, самым нелепым. Варваре Мироновой он достался в одиннадцать лет, когда в музыкальной школе кончились скрипки нужного размера, а педагог, не поднимая головы от журнала, сказал, что вон там стоит ещё одна, побольше, ничего, подрастёшь. Она подросла, инструмент остался при ней, и теперь, в сорок два года, стоя на причале Северного речного вокзала с футляром за спиной и сумкой, которая оттягивала плечо, Варвара иногда ловила себя на странной мысли: ничего в своей жизни она толком не выбирала сама. Ни скрипку, ни мужа, ни даже эту работу. Просто вовремя соглашалась.

Было второе сентября, час дня. Вокзал, сталинский, с высоким шпилем и звездой на макушке, стоял в такой яркой, почти праздничной погоде, что на него хотелось смотреть как на торт. С воды тянуло тиной и жареным луком, у парапета кто-то торговал чебуреками, и этот запах странным образом примирял с мыслью, что почти две недели придётся

прожить на одном судне с тридцатью двумя музыкантами, из которых двадцать девять по разным причинам терпеть друг друга не могли, а трое были влюблены, причём, как водится, безответно.

Тамара Кушнир сидела в тени у входа на пристань прямо на своём виолончельном чехле, как на барабане, и ела яблоко.

– Ты где ходишь? – спросила она с набитым ртом. – Прянхин меня уже трижды спрашивал, не видела ли я тебя, и каждый раз таким тоном, будто это я тебя спрятала.

– Я пешком шла. От метро.

– От метро сюда пятнадцать минут.

– Я шла медленно, Тома.

– Ты едешь на двенадцать дней на одном корабле с бывшим мужем, – сказала Тамара, поднимаясь и перехватывая чехол поудобнее. – Я бы на твоём месте шла ещё медленнее. Я бы вообще, наверное, остановилась где-нибудь в Химках и пожила там.

Тамаре было сорок пять, она была крупная, румяная, с крашенными в тёмную вишню волосами и тремя разводами за плечами, и при этом оставалась единственным человеком в оркестре, который каждое утро просыпался в хорошем настроении без всякой видимой причины. Варвара давно перестала искать этому объяснение. Хорошее настроение у Тамары было таким же свойством организма, как рост или группа крови, и обсуждать его было так же бессмысленно.

«Герда» стояла у крайнего причала, и Варвара, до этой минуты настроенная на плавание без всякого энтузиазма (она ехала только потому, что другой работы в сентябре не предвиделось, а ипотека за однокомнатную квартиру в Чертанове с сентябрём не считается), остановилась и несколько секунд смотрела молча. Теплоход был белый, с широкой красной полосой вдоль борта и тремя палубами, которые поднимались одна над другой, как этажи небольшого, очень аккуратного дома. Поручни были деревянные, тёмные от тысяч рук, латунные иллюминаторы кто-то отполировал так, что в них отражались облака, а над рубкой торчала тонкая труба с белым пояском. На носу латунными буквами значилось имя.

– Красивая, – сказала Варвара.

– Её построили в пятьдесят четвёртом, – сообщила Тамара. – На какой-то верфи, название которой без подготовки не выговоришь. Мне Пряхин рассказывал. Он вообще всё про неё знает, готовился, наверное, как к экзамену. Говорит, внутри всё оригинальное, даже рояль.

– Рояль на пароходе?

– На теплоходе, Варя, – поправила Тамара со значением. – Нас предупредили, что здесь за слово «пароход» могут высадить в Дубне.

Матрос, дежуривший у трапа, оказался совсем молодым, лет двадцати двух, веснушчатым, с таким сосредоточенным выражением лица, будто ему поручили охранять банк. Он заглянул в список, потом на Варвару, потом снова в список.

– Миронова? Альт? Вы последняя. Вас искали.

– Я знаю, – сказала Варвара. – Мне передали.

– Каюта семь, вторая палуба, по левому борту. Вещи отнести?

– Сама донесу.

– Там тесно, – предупредил матрос с каким-то даже сочувствием. – Но в иллюминатор видно.

Что именно видно, он не уточнил.

Трап скрипнул под ногами тихо и почему-то успокаивающе, как скрипит половица на даче, когда знаешь, что наступила на неё сама и никто не услышит. Пахло мастикой, свежей краской, речной водой и чем-то печёным, и у Варвары, которая с утра выпила только чашку кофе, мгновенно заныло под ложечкой. Коридор второй палубы был узкий, застеленный красной дорожкой с протёртой серединой, вдоль стен тянулись двери с латунными цифрами, а на каждой двери, на уровне глаз, висела маленькая табличка с фамилией. Варвара нашла свою, МИРОНОВА В. С., и сразу чуть повеселела: приятно, когда тебя ждали хотя бы в виде таблички.

Каюта и правда оказалась крошечной. Узкая койка, застеленная колючим клетчатым одеялом, умывальник с медным краном, откидной столик, шкафчик размером с хорошую табуретку и круглый иллюминатор, в котором плескалась мутная зелёная Москва-река. На стене висела репродукция шишкинской рощи, видимо, чтобы пассажиры не скучали по суше. А на койке, посередине одеяла, как на собствен-

ном законном месте, лежал огромный серый кот.

Он был такого размера, что на секунду Варвара засомневалась, кот ли это вообще, а не свёрнутая шуба. Левое ухо у него было обломано наполовину, глаза смотрели жёлтые, очень внимательные, и вид имел он такой, какой бывает у человека, которого неожиданно вызвали в кабинет и теперь он молча ждёт объяснений.

– Здравствуйте, – сказала Варвара.

Кот моргнул. Потом без всякой спешки встал, потянулся, спрыгнул на пол и сел у двери, глядя на неё через плечо, будто собирался показать что-то важное, а она всё не шла.

– Мне некогда, – сказала Варвара. – Мне ещё распаковываться.

Распаковывать оказалось особенно нечего: две пары джинсов, свитер, платье для концертов, чёрное, самое надёжное из трёх, пакет с лекарствами, в который тётя Эмилия Карловна накануне вечером собственноручно положила йод, активированный уголь и зачем-то календулу. Альт Варвара устроила под койкой, футляр подпёрла сумкой, чтобы не ездил на поворотах. Потом села на койку и минуты три просто слушала, как гудит под полом машина. Звук был ровный, глубокий, с какой-то очень хорошей вибрацией, почти в нижнем ре. Она поймала себя на том, что отбивает этот ритм пальцем по колену.

Дверь приоткрылась без стука.

– Ага, – сказал голос из коридора. – Вот и ты. А я думаю,

чего Боцман в седьмой застрял, он обычно в чужие каюты не ходит.

В дверях стояла невысокая, плотная женщина лет шестидесяти, в белом фартуке и платке, повязанном низко, по самые брови. В руках она держала поднос, накрытый вафельным полотенцем, и от этого подноса по коридору шёл такой запах, что кот у двери сел ровнее.

– Зинаида Петровна, – сказала женщина. – Повариха. Вы Миронова, значит. Тут ваши все уже поели, одна вы осталась. Держите.

Она сдёрнула полотенце. На подносе лежали пирожки, штук десять, золотистые, лоснящиеся от масла, с защипом посередине, и один из них был надкусан. Зинаида проследила за взглядом Варвары и сказала без всякого смущения:

– Это я пробовала. Соль проверить. Ешьте с нетронутого, он с налимом, а который с краю, тот с судаком, судак у меня сегодня сухой получился, не обращайте внимания.

Варвара взяла нетронутый. Он был ещё горячий, тесто мягкое, чуть сладковатое, а внутри такое, что она закрыла глаза, даже не успев решить, стоит ли. Налим был нежный, с луком и каким-то зеленью, которой она не могла определить.

– Укроп? – спросила она с полным ртом.

– И немножко сельдерея. Только вы никому не говорите, у меня на сельдерей мода уже лет двадцать как прошла, а я всё равно кладу. – Зинаида вздохнула и села на краешек койки, будто в собственной каюте. – Я на каждой пристани

закупаюсь, вы знайте. Огурцы, грибы, капусту квашеную. В Угличе у меня знакомая есть, груздей даёт, ради неё одной я бы туда ходила, даже если б капитан не посылал. У меня в трюме уже банок сорок, а мы ещё из Москвы не вышли. Муж мой покойный говорил, что я не повариха, а склад.

– Мне нравится ваш склад, – сказала Варвара совершенно искренне.

– Вы, главное, ешьте, – сказала Зинаида. – Музыканты, я заметила, едят как воробьи, а потом на репетиции падают в обморок. У меня в прошлом году виолончелист был, в Костроме, прямо на сцене. Мы его потом всем теплоходом откачивали.

– Это не наш, – поспешно сказала Варвара. – Наш виолончелист здоровый.

– Все здоровые, – сказала Зинаида, вставая и отряхивая фартук. – А потом в Костроме.

Она оставила поднос на откидном столике, погрозила пальцем коту, который не шелохнулся, и вышла. Дверь закрылась. Варвара осталась сидеть с пирожком в руке, и в этот момент поняла, что настроение у неё впервые за последние три недели вполне себе приличное, и что причина тому, по всей видимости, налим.

Боцман встал, обошёл каюту по периметру, коротко обнюхал альтовый футляр, видневшийся из-под койки, и, видимо, одобрил, потому что запрыгнул на койку и улёгся рядом, прижавшись тёплым боком к её бедру. Варвара не стала

возражать.

Через двадцать минут к ним постучалась Тамара.

– Выходи на палубу, – сказала она шёпотом, хотя никого рядом не было. – Приехал. С ним эта.

– Кто с кем?

– Аркадий. С Юлией. И с Маргаритой Эдуардовной, они втроём в одной машине, представляешь, какая атмосфера. Я смотрела из окна. Она вышла в таком плаще, как будто на премьеру. А он нёс ей зонтик, хотя дождя нет.

– Может, будет, – сказала Варвара.

– Варя, – сказала Тамара. – Не защищай его.

– Я не защищаю, я просто смотрю на небо.

На корме, на открытой палубе второго этажа, уже собралась половина оркестра, и Варвара, выйдя из прохода, на секунду остановилась в дверях, привыкая к свету. Здесь, на воздухе, всё выглядело как-то праздничнее: белые шезлонги, сложенные у стены, канаты, свёрнутые в аккуратные бухты, медный колокол у входа в рубку, на котором выгравирована дата. Внизу, по трапу, матросы заносили последние чемоданы. А посреди палубы, вокруг стола с графином воды и чьей-то раскрытой партитурой, как это бывает при любом собрании оркестровых людей, шёл никому не нужный, но всеми поддерживаемый разговор.

Главный администратор, Вадим Ильич Пряхин, ходил среди музыкантов с планшетом и отмечал присутствующих карандашом. Ему было лет пятьдесят, он был худощав, акку-

ратен, лыс, с лицом человека, у которого даже улыбка подшита в папку, и всякий раз, когда он ставил очередную галочку, казалось, что с кого-то снимают мерки. Игорь Павлович Лаврентьев, первая скрипка, высокий, чуть сутулый, с седыми висками и красными глазами человека, который плохо спал уже несколько лет, сидел на скамейке и держал на коленях красный кожаный футляр с латунными замками. Все остальные футляры уже унесли вниз, а этот он никому не отдавал, даже Савелию Исаевичу, пожилому настройщику, который семенил за ним следом и таскал всё остальное, что тот не хотел или не мог нести.

Савелий Исаевич Берг, маленький, лысоватый, с аккуратной седой бородкой клинышком и в круглых очках, которые он постоянно поправлял двумя пальцами, был в оркестре чем-то вроде всеобщего дедушки. Его знали все. Он чинил колки, менял струны, подклеивал отлетевшие эфы, а когда у кого-то случалась беда, приносил из своей каморки чай в стакане с подстаканником и варенье в розетке, и никто никогда не понимал, откуда у него это варенье берётся посреди гастролей. Он увидел Варвару, и лицо его осветилось.

– Варенька, голубушка! – сказал он. – А я за вас волновался. Думаю, всё, не успеет, пароход без неё уйдёт.

– Теплоход, – сказала Варвара автоматически.

– Конечно, теплоход, – смутился Савелий Исаевич, и тут же, без всякого перехода, наклонился к ней и сказал потише: – У вас, кстати, на ля-струне колок присел. Я слышал на

прошлой репетиции. Вы мне перед первым концертом дайте инструмент, я подкручу, это пять минут.

– Хорошо, – сказала Варвара. – Спасибо.

– Это не комплимент, – сказал Савелий Исаевич. – Просто я не люблю, когда хорошие инструменты мучаются.

Он поправил очки и ушёл, а Варвара смотрела ему вслед и думала, что вот человек, у которого, наверное, есть своя собственная жизнь, внуки, дача, и всё это скрыто за вежливостью, как письмо в конверте. Пальцы у него, когда он пожал ей руку, пахли лаком и чем-то ещё, сладковатым, смолистым. Она привыкла к этому запаху за много лет, как привыкают к запаху родительской кухни.

– Варя.

Она обернулась. И сразу узнала голос, хотя он стал чуть ниже, чем помнилось. Аркадий Соколовский стоял в трёх шагах от неё, в светлом пальто нараспашку, и смотрел на неё сверху вниз со спокойным, слегка рассеянным вниманием, с каким смотрят на предмет мебели, который не ожидали увидеть в этой комнате. Ему было пятьдесят пять, он был красив той самой красотой, которая требует специального ухода: серебряные волосы, высокий лоб, тонкий нос с горбинкой и руки, на которые он сам смотрел часто и с уважением, как на отдельное, очень удачное произведение искусства.

– Ты всё-таки приехала, – сказал он.

– Ты же звал, – сказала Варвара.

– Я не помню, чтобы звал. Я помню, что Вадим говорил,

что тебя нужно пригласить. – Он улыбнулся. – Это разные вещи.

– Конечно, – согласилась она.

Это была их старая манера, отработанная за пятнадцать лет совместной жизни, а потом за три года после развода: вежливость, которая не оставляет следов. Раньше Варвара считала это признаком цивилизованности. Теперь, к сорока двум годам, она подозревала, что это было просто хорошо замаскированное хамство, но привыкла и ни разу не нашла подходящей минуты, чтобы сказать об этом вслух.

За спиной Аркадия, чуть в стороне, держалась молодая женщина. Юлия Хромова, двадцать пять лет, пианистка, новая солистка оркестра, ученица Аркадия и по совместительству, как говорили в оркестре, шёпотом и без доказательств, нечто большее. Она была маленькая, тонкая, с большими светло-карими глазами и пальцами, которые Варвара определила сразу, как определяют породу собаки: сильные, длинные, с широкой подушечкой. Такими пальцами можно было ловить мячи, играть Рахманинова и очень аккуратно задушить кого-нибудь подушкой, подумала Варвара и тут же устыдилась этой мысли.

– Здравствуйте, Варвара Сергеевна, – сказала Юлия. Голос у неё был тихий, чуть неуверенный, с лёгкой хрипотцой. – Я так давно хотела с вами познакомиться. Я столько про вас слышала.

– Надеюсь, хорошее, – сказала Варвара.

– Нет, – сказала Юлия и тут же густо покраснела. – То есть да. То есть я хотела сказать, что...

– Юля, – мягко прервал Аркадий. – Нам нужно к Маргарите Эдуардовне, она ждёт.

И они ушли, он впереди, она за ним с папкой нот. А Варвара осталась стоять и смотреть на воду, потому что другого занятия у неё не было.

– Ну, – сказала Тамара за её плечом. – Что скажешь?

– Скажу, что девочка симпатичная, – ответила Варвара. – И что ей не повезло.

– С чем?

– Со всем сразу.

Маргарита Эдуардовна Рейх-Волкова, меценатка, оплатившая гастроли, появилась на палубе позже, ровно в тот момент, когда все уже собрались и ждали только её. Ей было шестьдесят шесть. Она была высокая, прямая, с коротко стриженными серебряными волосами, в длинном льняном плаще цвета топлёного молока, с тяжёлым серебряным браслетом на запястье и тростью, на которую, впрочем, никогда не опиралась, а только держала в руке, как жезл. Лицо у неё было из тех, что с одинаковым успехом подошло бы и директору банка, и настоятельнице монастыря. Говорила она негромко, и все сразу замолкали.

– Друзья мои, – сказала она. – Я рада видеть вас всех. Это путешествие мы задумали давно. Я надеюсь, что оно будет таким, каким должно быть: тихим, красивым и без происше-

ствий.

Кто-то у перил хмыкнул. Маргарита Эдуардовна сделала вид, что не заметила, и прошла в рубку, где её, судя по всему, ждал кофе и капитан.

Теплоход отошёл в три часа. Гудок, длинный, густой, низкий, прокатился над рекой и отозвался где-то на том берегу, трап убрали, швартовы сбросили. Корпус дрогнул, потом ровно, неторопливо поплыл вдоль набережной, и Москва, сначала огромная, начала по частям сворачиваться, как скатерть: сперва вокзал, потом башни, потом мосты. Варвара облокотилась на перила и стала смотреть. Рядом, на скамейке, расположился кот Боцман, очевидно, решивший, что за ней нужно присматривать.

Динамик над головой кашлянул, прохрипел что-то, потом вдруг заговорил низким, ровным, неторопливым голосом:

– Говорит капитан. Рейс Москва – Нижний Новгород. Обед в шестнадцать ноль-ноль. Курить на корме. Спасибо.

И всё.

– Ну, всё, – сказала Тамара, которая как раз подошла и встала рядом. – Выложился человек. Ни слова лишнего.

– Может, он стесняется?

– Он капитан, – сказала Тамара. – Капитаны не стесняются. Они экономят.

Первый день плавания прошёл так, как и должен проходить первый день любого путешествия: в хаосе. Все ходили по палубам, заглядывали в чужие каюты, обсуждали, у кого

иллюминатор больше. Виолончелист Фёдор Кузьмич, огромный, добродушный, с бородой лопатой, обнаружил, что его кровать на двадцать сантиметров короче, чем нужно, и полчаса громко возмущался, потом заснул, обложившись подушками. Две скрипачки, Лена и Нина, подружки с консерваторских времён, поселились в одной каюте и тут же начали шёпотом спорить, кто будет спать у окна. Валторнист, молодой, нервный, с подвижным лицом, долго искал, где можно разогреть губы так, чтобы не слышал дирижёр, и в конце концов нашёл какую-то нишу рядом с котельной, где и затих.

Ужин подали в столовой на нижней палубе, длинной, с низким потолком, обшитой тёмным деревом, где вдоль стен стояли столы, накрытые белыми скатертями, а на каждом лежало по пучку укропа в стакане, чтобы пахло. Варвара села с Тамарой и Фёдором Кузьмичом. Борщ был такой, каким борщ должен быть, густой, красный, со сметаной, а к нему подали пирожки с капустой и маленькие солёные огурчики, твёрдые, хрусткие, с чесноком. Фёдор Кузьмич съел шесть. Тамара три. Варвара, которая вообще-то обычно ела мало, неожиданно съела два пирожка и половину порции котлет, и подумала, что на этом теплоходе, пожалуй, можно и поправиться.

Аркадий ужинал за дальним столом, вместе с Маргаритой Эдуардовной, Юлией и Лаврентьевым. Они говорили вполголоса, и, судя по тому, как Лаврентьев держал вилку, разговор шёл напряжённый, хотя что именно обсуждалось, было

не разобрать. Пряхин сидел отдельно, с папкой, и ел как-то задумчиво, не поднимая глаз. Савелий Исаевич пристроился рядом с валторнистом и сосредоточенно намазывал хлеб маслом.

К вечеру теплоход вышел из города совсем. Берега стали ниже, зеленее, замелькали дачи, пристани, лодки с рыбаками. Сумерки наступали медленно, с розоватым отливом, и на небе, над водой, висела первая бледная звезда. Варвара вышла на верхнюю палубу, где было тихо и ветрено, постояла минут десять, потом спустилась вниз, потому что с непривычки быстро замёрзла, и пошла к себе.

Ночью случилось то, чего она отчасти ожидала.

Она не могла заснуть. Койка была узкая, одеяло колючее, теплоход слегка покачивало, машина гудела под полом ровно, настойчиво, как человек, который очень старается тебя усыпить и от усердия не даёт. Около двенадцати Варвара встала, достала из-под койки альт, села на край койки и решила, что поиграет немного, тихо, с сурдиной. Шнитке в третьем такте у неё давно не получался, он вообще никогда не получался с первого раза, и лучше всего его было репетировать по ночам, когда никто не слышит, какими словами она сама себя при этом называет.

Она вставила сурдину, взяла смычок, и в этот момент из-за стены раздалось кашлянье.

Она узнала бы его из тысячи. Аркадий кашлял одним и тем же манером все пятнадцать лет: сначала коротко, потом с

оттяжкой, потом ещё раз, чуть тише, и это значило, что он не спит, что он тут, что он всё слышит и ждёт, когда кто-нибудь догадается извиниться. В каюте номер восемь, по ту сторону фанерной стенки, расположился главный дирижёр «Московской камераты». Варвара осторожно положила смычок.

– Ну конечно, – сказала она шёпотом.

Альт вернулся под койку. Она легла, натянула одеяло до подбородка и уставилась в потолок, на котором дрожал отсвет воды. Через минуту койка чуть прогнулась: Боцман, видимо, решил, что в этой ситуации нужно присутствовать лично. Он уселся, подумал и свернулся клубком у неё в ногах.

– Утром, – сказала Варвара ему. – Утром на палубе. Там никого не будет, и стенок нет.

Боцман промолчал. Но, кажется, одобрил.

Проснулась она ещё до рассвета, в начале шестого, в серой густой полутьме, от толчка, который почувствовала не ухом, а скорее ногами: теплоход замедлил ход. Кота рядом не было. В иллюминаторе стоял туман, плотный, молочный, такой, что даже вода за стеклом казалась его продолжением. Варвара, не одеваясь толком, натянула свитер поверх пижамы, достала альт, пюпитр, партитуру, вышла в коридор и, стараясь не скрипеть, пошла к лестнице.

На палубах никого не было. Влажные доски холодили ступни сквозь тонкие носки, туман лежал так низко, что рубка наверху была видна только по тусклому жёлтому квадрату

окон. Берегов не было, ничего не было, только плеск, ровный, чуть шелестящий, и откуда-то издалека слабый колокольный звон. Звонили, кажется, в нескольких местах сразу, в разных тональностях, нестройно и мягко, и это было приятнее любой настройки.

Варвара прошла вперёд, к носу, где за невысоким бортом начиналась открытая площадка с какой-то лебёдкой и аккуратными бухтами каната. Здесь было просторно, ветер был свежий, и оркестра не было слышно совсем. Она поставила пюпитр на досках, раскрыла ноты, придержала их прищепкой, которую вечно таскала с собой, и в последний раз огляделась. Никого. Она подняла альт, прижала подбородком, закрыла глаза и сыграла первую фразу.

Шнитке начинается с долгой низкой ноты, которая тянется и тянется, пока не начинает казаться, что вот-вот лопнет струна, и в тумане она прозвучала так, что у Варвары самой мурашки побежали по рукам. Звук уходил вдаль, не встречая ничего, и пропадал. Это было, пожалуй, лучшее акустическое место, в котором она когда-нибудь играла. Она сыграла фразу до конца, перевернула страницу, потом ещё одну, потом дошла до третьего такта.

Третий такт не получался. Двойная нота с квартой, потом резкий скачок вверх, потом то, что композитор, видимо, считал изящным переходом, а на самом деле было способом проверить, на что способны человеческие пальцы. Варвара сыграла его, поморщилась, сыграла ещё раз, потом ещё.

Она так увлеклась, что не слышала, как гудок прозвучал дважды, потом трижды, потом, уже совсем отчаянно, четыре раза подряд. Не слышала, как внизу забегали матросы. Не заметила, что туман впереди стал редеть и сквозь него проступили белые стены какого-то монастыря, золотые маковки церквей и длинный каменный причал с фонарями.

Зато она услышала голос, который раздался прямо над головой, из громкоговорителя, металлический, ровный, абсолютно безэмоциональный:

– Женщина с инструментом на баке. Освободите палубу.

Варвара продолжала играть.

– Женщина на баке, – повторил голос. – Освободите палубу. Идёт швартовка.

Она не слышала. Она была в третьем такте.

Динамик замолчал. Потом в наступившей тишине, нарушаемой только шумом воды, послышались быстрые шаги, лязгнула дверь, кто-то спустился по трапу, и рядом с ней остановились чьи-то ботинки. Варвара, не открывая глаз, доиграла фразу до конца, опустила смычок и только после этого повернула голову.

Рядом стоял высокий мужчина в тёмном кителе с тремя золотыми нашивками на рукаве и с фуражкой, зажатой в руке. Ему было лет сорок пять или чуть больше. Широкий в плечах, с грубоватым, обветренным лицом, на котором выделялись очень спокойные, серые, чуть усталые глаза. Виски седые, а остальные волосы тёмные, коротко стриженные.

Он смотрел на неё без раздражения, без интереса, без всякого видимого выражения вообще, и от этого ей на мгновение сделалось неуютно: так смотрит врач, который в голове уже поставил диагноз и теперь ждёт, когда ты закончишь говорить про симптомы.

За его спиной, чуть поодаль, стояли двое матросов с канатами в руках и тот самый веснушчатый парень со вчерашнего трапа, у которого было лицо человека, присутствующего при историческом событии. А ещё чуть дальше, на ступеньке трапа, сидел кот Боцман, и вид у него был такой, словно именно он этого капитана сюда и привёл.

– Сударыня, – сказал капитан. – Вы мешаете швартовке.

– Простите? – сказала Варвара.

– Вы стоите на швартовой палубе. Здесь выбирают канаты, и сейчас здесь должны работать люди. Люди вас обойти не могут, потому что вы поставили пюпитр посередине. – Он говорил медленно, без нажима, но так, что возражать почему-то не хотелось. – Из рубки вас не видно. Динамик вы не слышите. Матрос не решился вас тронуть, потому что боялся, что вы упадёте за борт вместе с инструментом.

Варвара огляделась и впервые увидела, что действительно стоит почти посередине площадки, а вокруг неё, как вокруг статуи, кольцом выстроились канаты, скобы и какие-то железные штуки, о предназначении которых она не имела ни малейшего понятия. В нескольких метрах уже виднелся причал, а на нём стояли два человека в телогрейках и спокойно,

терпеливо ждали, пока она закончит.

– Я не слышала, – сказала она. – Я репетировала.

– Я понял.

– Мне негде больше. В каютах стены тонкие.

– Это не отменяет швартовки.

– Я не говорю, что отменяет. Я просто объясняю, – сказала Варвара, чувствуя, как у неё внутри просыпается то, что тётя Эмилия Карловна называла «твоя оборонительная колючка». – У меня идёт Шнитке. Если я не отрепетирую третий такт, то на концерте в Угличе мне придётся изображать из себя человека, которому всё равно. А мне, представьте, не всё равно.

– Я слышал, – сказал капитан.

– Что вы слышали?

– Третий такт. – Он помолчал. – У вас там что-то не так.

Варвара подняла брови.

– Простите?

– Третий такт. Вы его три раза играли, и каждый раз по-разному. Один раз вышло лучше остальных.

– Какой? – спросила она, хотя вопрос был совершенно не к месту.

– Второй, – сказал капитан без малейшей паузы.

Матрос с канатом тихо кашлянул.

Варвара смотрела на этого человека и не могла решить, смеяться ей или обижаться. Второй раз у неё действительно вышло лучше. Она сама это заметила. И то, что мужчина в

кителе, который вообще-то пришёл её выгонять, заметил то же самое, было возмутительным до такой степени, что она не нашла ничего умнее, чем сказать:

– Это Шнитке. Так написано.

– Тогда он ошибся, – сказал капитан совершенно серьёзно.

– Он гений!

– Гении тоже ошибаются, – сказал капитан. – Я, например, вот так на причал не захожу.

Он надел фуражку, коротко кивнул матросам, и те мгновенно, с явным облегчением, бросились к канатам, обходя Варвару с двух сторон, как обходят препятствие в коридоре. Пюпитр кто-то аккуратно отставил в сторону. Варвара стояла с альтом в руках и смотрела, как швартовые летят на причал, как их ловят, как теплоход, тяжело и плавно, касается каменной стенки и замирает. Всё это заняло минуты три и прошло совершенно без неё.

– Меня зовут Варвара, – сказала она вдруг, неизвестно зачем, в широкую спину капитана.

Он остановился на ступеньке трапа. Не оборачиваясь.

– Рябинин, – сказал он. – Николай Андреевич.

– Очень приятно.

– Мне тоже, – сказал капитан. – Идите завтракать, Варвара. Зинаида Петровна печёт блины.

И ушёл наверх, а за ним потрусил Боцман, на ходу оглянувшийся на Варвару с таким выражением, что она не поня-

ла: то ли извиняется, то ли предупреждает.

– Ого, – сказал за её спиной веснушчатый матрос.

Варвара обернулась. Он смотрел на неё с неподдельным, почти детским изумлением.

– Что «ого»?

– Вы с ним говорили, – сказал матрос. – Вот, долго. Он обычно не разговаривает. Он вообще на «ага» и «нет» живёт.

– Он сказал мне, что я мешаю швартовке.

– Ну, – согласился матрос. – Это да. Но он ещё и про Шнитке сказал. Я слышал. Я Костя, кстати, – добавил он, спохватившись.

– Варвара.

– Я знаю. Вы вчера последняя пришли.

Она убрала альт в футляр, свернула пюпитр, собрала разлетевшиеся ноты. Руки у неё слегка дрожали, и она не могла понять, от холода это или от чего-то другого. Колокола в городе уже умолкли, туман постепенно рассеивался, и на причале, за мокрыми перилами, открывалась набережная, такая нарядная, будто её только что вымыли: низкие дома, красные кирпичные стены, белая колокольня и деревья, уже тронутые первой жёлтизной. Над Волгой стоял бледный, ещё не окрепший свет, и вода под ним казалась молочно-зелёной.

В столовой пахло блинами и дымом. За длинным столом уже сидели несколько оркестрантов, зевающих, растрёпанных, и ели молча, как едят люди, которые проснулись слишком рано и пока не уверены, что это было необходимо. Вар-

вара села рядом с Тамарой, которая встретила её вопросом без всякого предисловия:

– Тебя капитан ругал?

– Откуда ты знаешь?

– У нас весь теплоход знает. Мне Лена сказала, а ей Нина, а Нине кто-то из матросов. Ты стояла на носу, играла в халате...

– Это свитер.

– Играла в свитере и в пижамных штанах, а он спустился с мостика и лично тебя выставил.

– Он меня не выставил. Он сказал, что я мешаю.

– И что ты?

– Я сказала, что мне негде репетировать.

– И что он?

– Сказал, что у меня во втором разе вышло лучше, чем в первом и третьем.

Тамара замерла с блином на вилке.

– Варя, – сказала она медленно. – Он тебя слушал.

– Он просто стоял рядом.

– Он тебя *слушал*, – повторила Тамара, и глаза её засветились тем особым светом, который Варвара ненавидела в подругах и любила в Тамаре. – Ты понимаешь, что это значит? Человек, который на швартовке не может отвлечься на что-либо постороннее, потому что от этого зависит жизнь и здоровье пассажиров, вдруг оценивает твою игру. В третьем такте!

– Это значит, что у него хороший слух. Больше ничего.

– Больше ничего, – согласилась Тамара с таким видом, с каким соглашаются, когда не согласны категорически.

Зинаида Петровна, проходя мимо с подносом, остановилась возле их стола, поставила перед Варварой тарелку с дымящимися блинами, баночку сметаны и розетку с вишнёвым вареньем и сказала негромко, чтобы не слышали остальные:

– Вы его не бойтесь, Николая Андреича. Он только с виду суровый, а так он тихий. Это я вам говорю, я его двадцать лет знаю.

– Я не боюсь, – сказала Варвара.

– Вот и правильно. – Зинаида вздохнула. – А то он знаете, как говорит? Он говорит мало, зато каждое слово как гвоздь. Если уж сказал, то навсегда.

– Да он мне, в общем, ничего и не сказал.

– Сказал, – возразила Зинаида. – Он вам про третий такт сказал. Он, между прочим, с женой своей, с покойной, лет десять не разговаривал ни про что, кроме хозяйства. А вам про такт. Вы подумайте.

Она ушла, а Варвара осталась сидеть над блинами с очень странным ощущением, будто её только что поздравили с чем-то, о чём она не просила.

К концу завтрака в столовую заглянул Костя, огляделся, нашёл её глазами и подошёл, держа что-то в руке.

– Вам просили передать, – сказал он, протягивая сложенный вдвое листок. – От вахтенного помощника. То есть от

капитана. То есть через помощника.

Она развернула бумагу. Это была страничка из обычного блокнота в клетку, исписанная чётким, мелким, очень прямым почерком, какой бывает у штурманов, привыкших заполнять журналы в качку:

«Кают-компания свободна для индивидуальных занятий ежедневно с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00, кроме дней концертов. Рояль не трогать, там настроено. Н. Р.».

Варвара прочитала записку два раза, потом сложила и сунула в карман.

– Что там? – спросила Тамара, вытягивая шею.

– Расписание, – сказала Варвара.

– Какое расписание?

– Репетиционное.

Тамара посмотрела на неё долгим взглядом, потом тихо, с наслаждением, откусила кусок блина.

– Не говори ничего, – сказала Варвара.

– Я молчу, – ответила Тамара. – Я просто ем.

Под столом, возле Варвариной ноги, что-то тёплое мягко ткнулось ей в щиколотку. Она заглянула вниз. Боцман, невесть откуда взявшийся, сидел там и смотрел на неё жёлтыми, совершенно невинными глазами, а хвост его, обвившись вокруг ножки стула, чуть заметно подрагивал на самом кончике, как у кота, который знает больше, чем говорит.

– Предатель, – сказала Варвара тихо. – Ты же к нему пошёл.

Кот зажмурился, и в этот момент снаружи, на причале, кто-то громко позвал Костю, а в иллюминаторе, прямо перед её глазами, выглянуло из тумана первое солнечное пятно, и вся Волга разом стала золотой.

В Угличе им предстояло играть вечером. Шнитке, Моцарт и что-то из Чайковского для публики попроще. До концерта оставалось одиннадцать часов, и первым делом Варвара собиралась пойти в кают-компанию, на ту самую репетицию с девяти до одиннадцати, которую ей разрешили. Третий такт ждал её.

Она допила чай, встала и, прихватив с собой тарелку с оставшимся блином (для Боцмана, разумеется, чисто из вежливости), пошла к лестнице.

Глава 2

Дорогу от столовой до кают-компании Варвара нашла не сразу, хотя на таком теплоходе заблудиться, казалось бы, негде: три палубы, два трапа и один длинный коридор, по которому, если идти достаточно долго, обязательно куда-нибудь придёшь. Она вышла из столовой не в ту дверь, поднялась по узкой лестнице, которая оказалась служебной, и упёрлась в железную дверь с надписью «Посторонним вход воспрещён». Постояла перед ней с блином на тарелке, прикидывая, считается ли она посторонней, если сегодня утром её уже один раз лично выставляли с палубы.

Дверь не открывалась ни от толчка, ни от взгляда. Боцман, сидевший на ступеньку ниже и наблюдавший за её манёврами, поднялся, шумно вздохнул, как вздыхают люди, потерявшие терпение, и пошёл вниз, ни разу не оглянувшись. Варвара посмотрела ему вслед, потом на блин, потом на дверь и двинулась за ним. Кот провёл её обратно через столовую, где уже убирали со столов и никто на них не обратил внимания, к широкой лестнице с резными перилами, которой она вчера почему-то не заметила, потом по знакомому коридору с красной дорожкой, мимо собственной каюты и каюты Аркадия (из-за этой двери она прошла быстрее, чем нужно), до самой кормы, и остановился перед двустворчатой дверью с латунными ручками. Сел, обернул хвост вокруг лап и по-

смотрел на неё так, что оставалось либо открывать, либо извиняться.

– Спасибо, – сказала Варвара. – Блин тебе.

Боцман понюхал, откусил самый краешек, прожевал с лицом человека, которому подали совсем не то, что он заказывал, и ушёл, оставив остальное на полу. Варвара подняла тарелку, подумала, что за этим теплоходом придётся наблюдать, как за очень большой и очень вежливой кошкой, и толкнула дверь.

Кают-компания занимала почти всю корму второй палубы, и это было, пожалуй, лучшее помещение на судне, потому что окна в ней шли по трём сторонам, широкие, с мелкими переплётами и белыми занавесками на латунных кольцах, и в каждом стояла река. Стены обшиты тёмным деревом, которое старше Варвары лет на тридцать, пол покрывал вытертый ковёр с красно-синим узором, а с потолка свисали три люстры с хрустальными подвесками, и одна из них слегка позвякивала в такт машине. В углу, у задней стены, стоял самовар размером с небольшую собаку, начищенный так, что в нём можно было бриться, и на кранах висели картонные бирки, написанные чьей-то твёрдой рукой: «чай», «кипяток», «не трогать, горячо». Рядом застеклённый шкаф, а в нём модель «Герды» величиной с батон, барометр со стрелкой, застывшей где-то между «переменно» и «ясно», и десяток книг в одинаковых серых переплётах. У среднего окна, чуть наискосок, чтобы свет падал слева, стоял рояль.

Рояль был чёрный, потёртый по краям, с облупившейся золотой надписью над клавиатурой, а на крышке виднелись три круглых следа, оставшихся, видимо, от чьих-то стаканов лет сорок назад. Варвара подошла и нажала одну клавишу, ля первой октавы, тихо, одним пальцем. Звук получился тёплый, слегка глуховатый, и повис в воздухе дольше, чем она ожидала. Комната оказалась неплохая: дерево и занавески съедали резкость, но не глушили совсем, так что играть здесь было можно, а слушать даже приятно.

– Варенька, ну что же вы, – сказали у неё за спиной. – Капитан просил рояль не трогать.

У двери, с двумя стульями в каждой руке, стоял Савелий Исаевич, и лицо у него было такое виноватое, как будто это он сам только что нажал клавишу.

– Я не трогаю, – сказала Варвара. – Я проверила, как здесь звучит.

– Ну, так звучит, – сказал Савелий Исаевич. – Он у них на особом счету, рояль. К нему мастер из Ярославля приезжал перед самым рейсом, три часа возился, Пряхин рассказывал. Так что давайте мы на него не будем смотреть вообще, чтобы не соблазняться.

Он поставил стулья, вернулся к двери и принёс ещё четыре, потом ещё. Оказалось, что он расставляет оркестр: на подоконнике лежал листок с чертежом, и Савелий Исаевич то и дело сверялся с ним, шевеля губами, отмерял расстояния между стульями шагами, а один раз достал из кармана

старую портновскую ленту и измерил зазор у рояля, после чего отодвинул стул на ладонь влево и остался доволен. Варвара опустила тарелку на подоконник, раскрыла футляр, достала альт и села проверять строй. А Савелий Исаевич всё ходил с этими стульями и вдруг сказал, не оборачиваясь:

– Вы давно на этом играете?

– На этом с девяносто восьмого. Мне мама купила, когда я в консерваторию поступила. Фабричный, немецкий, семидесятых годов, ничего особенного.

– Дайте-ка, – сказал Савелий Исаевич.

Он поставил очередной стул, подошёл, вытер руки о жилет и взял альт так, как берут уснувшего ребёнка: одной рукой под гриф, другой под корпус, и сразу как-то весь собрался и стал выше. Повернул колок. Тронул ля струну пальцем, послушал, склонив голову набок, потом тронул ещё раз и поморщился, как от больного зуба.

– Присел, – сказал он. – Я же говорил. Только не вчера присел, а давно уже, вы просто привыкли и подстраиваетесь. Ну-ка.

Он подтянул, подкрутил, достал из кармана жилета крошечный флакончик с чем-то коричневым, капнул на кончик колка, снова подкрутил и вернул ей альт с таким выражением, будто сам собирался сыграть на нём концерт, но уступает ей из вежливости. Колок сидел теперь плотно, и струна держала строй так, как не держала, наверное, лет пять.

– Фабричный, – сказал Савелий Исаевич задумчиво. –

Это, знаете, честная вещь. Он не притворяется. Я иногда думаю, что мне такие даже милее, чем которые с историей. С историей капризные и всё время что-то требуют, а фабричный стоит себе и работает.

От его пальцев по-прежнему пахло лаком и чем-то смолистым, сладковатым, и Варвара подумала, что этот запах она будет теперь связывать с каждой настройкой до конца жизни.

– Спасибо, – сказала она.

– Пустое, – отмахнулся Савелий Исаевич и ушёл за новыми стульями.

Зинаида Петровна появилась ровно в девять двадцать, и появилась так, как умеют появляться только люди, которым всё время некогда: с подносом на одной руке, с трёхлитровой банкой под мышкой другой и дверью, которую она открыла плечом.

– Посторонитесь, – сказала она. – Савелий Исаевич, подвиньте стул, а то я вас зацеплю, и будет вам огурцов на лацкан.

Савелий Исаевич подвинулся. Зинаида плюхнула поднос на ближайший стол, поставила банку рядом, и в комнате сразу возник второй запах, поверх мастики и дерева, резкий, острый, с укропом, чесноком и какой-то горчинкой, которую Варвара определила только после третьего вдоха: хрен.

– Угличские, – объявила Зинаида. – Я их в шесть утра взяла, на рынке, у Валентины. Вы знаете Валентину? Откуда вам знать. Она торгует у самых ворот, в синем платке, а

бочки у неё стоят прямо в тени, потому что она говорит, что огурец солнца не любит, и я с ней согласна. Они у неё на дубовом листе, на смородиновом и с хреном, ни капли уксуса, и рассол такой, что можно просто пить, ничего не закусывая. Костя помогал таскать, так он по дороге одну банку чуть не уронил, я ему сказала, что убью, и он донёс, как стеклянную.

Она сняла крышку, и запах стал таким плотным, что на него хотелось опереться. Достала из кармана фартука вилку и наколола огурец, тёмно-зелёный, пупырчатый, длиной с палец, и протянула Варваре.

– Пробуйте.

Варвара откусила. Огурец хрустнул так громко, что Савелий Исаевич обернулся. Вкус был холодный, солёный, с лёгкой кислинкой, и сразу за ним вылезли чеснок, хрен, смородина, а где-то в самой глубине нежная сладость, которая бывает только у огурцов, выросших на солнце, а не в теплице.

– Господи, – сказала Варвара.

– Вот и все так говорят, – сказала Зинаида с удовлетворением. – Если не хрустит, значит, не огурец. Мне вообще вся эта нынешняя мода на мягкие и сладкие непонятна. Савелий Исаевич, вам?

– Мне нельзя, – сказал Савелий Исаевич поспешно. – У меня желудок.

– Желудок у вас для того, чтобы туда что-нибудь класть, – сказала Зинаида. – Вы худеете, Савелий Исаевич, я вижу. Скоро в иллюминатор пролезете. Я вам потом пирожков с

картошкой отложу, они мягкие, вам можно.

Она вернулась к подносу, сняла полотенце и начала выкладывать пирожки на блюдо, сначала с налимом, потом с капустой, потом с яйцом и луком, и между делом, не прерывая работы и не снижая голоса, выдавала такие сводки, каких Варвара не получила бы и от самого дотошного администратора.

– Ваш главный в восьмой, вы это знаете, – сказала она. – Я ему вчера ночью чай носила, так он меня на пороге минут десять продержал, всё про оркестровую дисциплину рассказывал, а у меня чай стынет. Юлия в девятой, рядом с ним, хотя Пряхин сперва её в четвёртую записал, а потом переписал. Видно, ему объяснили. Лаврентьев в пятой, он с этим своим красным чемоданом, который никому не отдаёт, я пробовала подушку ему отнести, он футляр на кровать положил, а сам на стуле спал. Пряхин во второй, самый ближний к лестнице, потому что ему надо всё время бегать. Маргарита Эдуардовна наверху, в люксе, там раньше то ли министры ночевали, то ли артисты какие-то заслуженные, не помню, я там ковёр пылесосила, так он тяжелее вас обеих. Ну и остальные ваши по двое, по трое. Фёдор Кузьмич у меня жалуется, что кровать короткая, я ему сказала, чтобы в сторону ноги вытягивал, а он не понимает, что в сторону уже стенка.

– Он вчера выяснил, – сказала Варвара.

– Вот и пусть выясняет. Ваш дирижёр, кстати, пирожки не ест. Я заметила: поставлю перед ним, он отодвигает.

– Совсем?

– Совсем. Говорит, диета для рук.

– Для каких рук?

– Не знаю. Руки у него, наверное, на диете. – Зинаида сунула полотенце обратно в карман. – Я двадцать лет на этих рейсах, а такого не видела, чтобы руки сидели на диете. Ну, вы ешьте, ешьте. Это на нервы, – добавила она, указывая подбородком на блюдо. – К одиннадцати все придут злые, потому что не выспались. А вы, – она посмотрела на Варвару внимательно, – не расстраивайтесь, если что. Люди бывают как погода. Сегодня ветер, завтра пройдёт.

И ушла, оставив после себя запах хрена и ощущение, что тебя только что тихо, по-хозяйски обложили подушками.

Варвара подождала, пока дверь закроется, и посмотрела на Савелия Исаевича. Тот стоял с последним стулом в руках и смотрел на банку, и в его лице было такое жадное, такое голодное выражение, что она решила ничего не говорить.

В двадцать минут десятого она осталась в комнате одна. Савелий Исаевич унёс остатки стульев и растворился в недрах теплохода, пообещав вернуться в десять с пюпитрами, и Варвара подняла альт. Прежде всего она настроила его от ля, которое выдавал рояль, потом долго слушала, как гудит под полом машина: звук был ровный, низкий, где-то около ре, и добавлял к любой ноте свою тихую подложку, так что получалось не одно ля, а два. Она подумала, что за двенадцать дней привыкнет, и вообще перестанет замечать, как привы-

кают к стуку холодильника, а потом, на суше, с непривычки несколько дней будет казаться, что чего-то не хватает.

Потом она положила перед собой Шнитке и взялась за третий такт.

Третий такт получился с первой попытки так же плохо, как и все предыдущие: она споткнулась на двойной ноте, подтянула, дёрнулась, как всегда дёргалась, когда палец не попадал, и сыграла скачок вверх на полтона ниже, чем надо. Она поморщилась, остановилась, помассировала левую руку. Вспомнила, что утром, на баке, во второй раз он у неё получился, и она ещё тогда удивилась. Что она сделала по-другому? Она закрыла глаза, представила то место, прокрутила в голове и поняла: во второй раз она не стала брать двойную ноту первым и третьим пальцем, как написано в аппликатуре, которую ей когда-то вписал педагог, а взяла вторым и четвёртым, потому что палец в тумане сам встал туда. Она проверила. Так было удобнее, рука не выкручивалась, и скачок после этого ложился на место, как ключ в замок.

– Чёрт, – сказала Варвара негромко.

Выходило, что человек в тёмном кителе, который двенадцатью словами выставил её с палубы, оказался прав. Не в смысле Шнитке, конечно, а в смысле её собственных пальцев. Ей хотелось и поблагодарить его, и швырнуть в него этим самым Шнитке одновременно, и она никак не могла решить, какое из двух желаний сильнее, а потому сыграла такт ещё пять раз подряд, с новой аппликатурой, и каждый раз

выходило лучше.

К половине одиннадцатого кают-компания начала заполняться.

Люди приходили по одному, по двое, с футлярами, с чашками чая, с папками, с лицами, на которых читалось, как они спали: у кого хорошо, у кого плохо, а у кого вовсе не спал. Фёдор Кузьмич вошёл боком, как входят в узкую дверь очень крупные люди, неся виолончель на плече, а под мышкой маленькую подушку, и первым делом осмотрел стул, а потом сел и вздохнул так, что со стола сдуло листок. Лена и Нина, вторые скрипки, шли держась за руки и о чём-то шептались, и обе сразу замолчали, когда увидели Варвару, и обе одновременно ей улыбнулись, каждая по-своему: Лена виновато, Нина с любопытством. Два альта, Олег Витальевич, спокойный, лысеющий, с пухлыми руками и вечным пакетом семечек в кармане, и Света Ким, тоненькая, быстрая, в очках с круглой оправой, заняли свои места слева от Варвары и начали молча раскладывать ноты, потому что с утра никто из них разговаривать не любил. Валторнист Стас, нервный, с подвижным лицом, заглянул, вошёл, вышел, снова вошёл и в конце концов сел как можно дальше от двери. Гоша Пименов, контрабасист, долговязый, с длинными руками, внёс свой инструмент, как несут чьё-то неуклюжее тело, и целую минуту искал, куда его пристроить, чтобы не сбить люстру. Появились флейтистка, девочка лет двадцати четырёх по имени Кристина, и две гобоистки, обе Галины, одна

Марковна, другая просто Галя, с такими усталыми лицами, что казалось, они вдвоём вчера всю ночь пекли хлеб на весь оркестр.

Последним, как положено, пришёл администратор.

Вадим Ильич Пряхин вошёл, остановился на пороге, окинул комнату взглядом человека, у которого в голове лежит схема, и сразу понял, что схема не совпадает с действительностью. Он держал, как всегда, прижатую к груди кожаную папку, и вид у него был такой, словно он только что узнал, что в доме лопнула труба и надо срочно звонить, а телефона нет.

– Коллеги, – сказал он. – Коллеги, прошу сесть так, как указано в схеме.

– А где схема? – спросил Стас.

– Схема на двери, я вывесил.

– На какой двери?

– На той, в которую вы только что вошли.

Стас встал и пошёл смотреть. Вернулся минуты через две и сел на то же место.

– Я там сижу, – сказал он.

– Вы сидите не там.

– Я там сижу, потому что оттуда слышно духовые.

– Но вы духовой.

– Тем более.

Пряхин закрыл глаза и пошевелил губами. Потом открыл и объявил, что теперь, пока не пришёл дирижёр, он хотел

бы довести до сведения оркестра несколько организационных моментов. Первый момент: расписание на сегодня, концерт в Угличе в девятнадцать часов, выезд на автобусе в семнадцать тридцать, форма одежды концертная, чёрное. Второй момент: питание. Третий момент: правила пребывания на судне, которые передал капитан Рябинин лично и просил довести до сведения каждого.

– Первое, – прочитал он по бумажке. – Не курить в каютах и на внутренних палубах. Второе, не выбрасывать ничего за борт, в том числе окурки. Третье, не заходить в машинное отделение, на мостик и в служебные помещения без приглашения. Четвёртое...

Он запнулся и покосился на Варвару. Варвара почувствовала, что краснеет.

– Четвёртое, – сказал Пряхин, – не репетировать на палубе во время швартовки и отхода судна от причала, а также в иных ситуациях, когда на палубе производятся работы.

Кто-то фыркнул, потом хмыкнул ещё кто-то, и вот уже Фёдор Кузьмич закашлялся в бороду, а Тамара, которая как раз в эту минуту вошла с чашкой кофе и в шарфе цвета фуксии, остановилась в дверях и спросила звонким голосом:

– А что, у нас кто-то репетировал на палубе?

– Нет, – сказал Пряхин торопливо. – Это общее правило.

– Общее, но очень конкретное, – сказала Тамара. – Прямо вижу, как его вписывали.

Она села на свой стул, поставила чашку на пол, положила

смычок на колени и наклонилась к Варваре так близко, что кудрявая вишнёвая прядь свесилась ей на лоб.

– Весь теплоход обсуждает, – сказала она шёпотом. – Мне на лестнице Лена с Ниной уже три версии рассказали. По одной ты спела арию. По другой сыграла «Мурку».

– Я сыграла Шнитке.

– Это хуже, – сказала Тамара. – «Мурку» хоть все знают.

Игорь Павлович Лаврентьев вошёл без десяти одиннадцать, и вся комната как-то тихонько переменилась. Не то чтобы люди замолчали, они просто стали говорить немного тише и без лишних слов, как в приёмной у врача, когда выходит сам заведующий. Он шёл не торопясь, чуть сутулясь, несколько раз задев кого-то плечом и извинившись, не глядя, и в правой руке нёс красный кожаный футляр с латунными замками, а левой придерживал его снизу, словно футляр мог в любую секунду упасть и разбиться, хотя до сих пор, как знала Варвара, ничего подобного не случалось ни разу за восемнадцать лет.

Первая скрипка в таком оркестре, как «Московская камерата», была чем-то вроде старшего брата, второго после дирижёра, а в некоторые дни и первого. Лаврентьев играл на своём месте с самого основания оркестра, то есть лет двадцать пять, и все эти годы заслуженно считался одним из лучших скрипачей в стране, о чём сам он вспоминал редко, а коллеги ещё реже. Он был высокий, чуть сутулый, с седыми висками и красноватыми веками, и лицо у него было такое,

на каком хорошо читалось всё, что человек хотел бы спрятать, но не умел. А восемнадцать лет назад, когда фонд Маргариты Эдуардовны купил для оркестра скрипку работы Гваданини, одного из тех мастеров, чьё имя в скрипичном мире произносят шёпотом, именно ему доверили на ней играть. С тех пор он не расставался с ней ни на день и даже спал, если верить Зинаиде, на стуле рядом с футляром, чтобы не прижать во сне.

Он остановился у первого пульта, поставил футляр на отдельный стул, который Савелий Исаевич загодя приготовил, постелив сверху чистую белую салфетку, и открыл замки по очереди, сначала правый, потом левый. Все смотрели. Варвара тоже смотрела, потому что смотреть на это можно было бесконечно: он вынимал инструмент так, как вынимают из колыбели.

Скрипка была светлая, цвета тёмного мёда, с тонкими, чуть растянутыми эфами и небольшой тёмной царапиной у нижнего завитка, которую знали все. Лаврентьев протёр её мягкой тряпочкой, заглянул под струны, подтянул один колок, поднёс к плечу, прижал подбородком, провёл смычком по открытой струне. Ля прозвучало чисто, красиво, чуть сдержанно, как прозвучал бы голос образованной женщины, которая не привыкла громко говорить.

– Красота, – прошептала Тамара. – Хотя я, как виолончелистка, должна сказать, что скрипка есть скрипка.

– Ты завидуешь.

– Я? Я двадцать лет играю на дереве, которое могла бы использовать как шкаф. Я не завидую, я просто смотрю.

Юлия вошла после всех, в светлом сарафане, с волосами, собранными в тугой пучок, и с такой прямой спиной, с какой ходят только очень молодые пианистки, твёрдо знающие, что за ними наблюдают. Она ни на кого не посмотрела, подошла к роялю, села, подтянула табуретку, поставила ноги на педали, положила пальцы на клавиши и замерла, не играя. Ждала. Через секунду из её рук вылетела тихая гамма, потом вторая, потом несколько связанных аккордов, и все, кто ещё шумел, примолкли. Играла она хорошо, по-настоящему хорошо, мягко, с таким уверенным прикосновением, что рояль, который Варвара полчаса назад нажимала пальцем, вдруг показался совсем другим инструментом.

– Сильно, – сказал Олег Витальевич негромко и сунул в рот семечку.

– Тебе кто разрешал шелуху? – прошипела Света.

– Я в кулак.

– В какой кулак? У тебя нет кулака, у тебя ладонь.

Маргарита Эдуардовна появилась в одиннадцать, тихо, не привлекая внимания, со своей тростью, которую, как и раньше, не использовала по назначению. Она опустилась в кожаное кресло у самого дальнего окна, положила трость поперёк колен, сложила руки и стала смотреть на оркестр, не мигая, как смотрят члены комиссии. Рядом с ней на подоконнике кто-то оставил чашку, и она, не отрываясь от оркестра, при-

двинула её к себе пальцем.

– Наш ангел-хранитель, – шепнула Тамара. – Сидит, как на заседании по вопросам помилования.

– Тише, – сказала Варвара.

– Я тихо. Я вообще мышь.

Вот так, пока в комнате складывался оркестр, под потолком что-то тихо, едва слышно гудело: то ли двигатель, то ли ожидание, то ли просто люди, которые не слишком любят друг друга и вынуждены на двенадцать дней оказаться в запертом пространстве. За окнами светило нормальное сентябрьское солнце, небо было синее, река блестела, а в комнате почему-то гудело, как перед грозой, и по этому гулу Варвара, которая провела в оркестрах почти всю жизнь, безошибочно определяла, что скоро кто-нибудь кого-нибудь обидит.

Аркадий вошёл в пять минут двенадцатого. Он делал так всегда: опаздывал ровно на пять минут, и пять минут эти он, видимо, считал минимальным временем, необходимым для того, чтобы оркестр понял, как сильно в нём нуждается. Он вошёл без футляра, без нот, без папки, в тонкой светлой рубашке с закатанными рукавами и в тёмных брюках, и в этой простоте была вся его манера: у него в голове лежало всё, а на столе лежал только карандаш. Все встали. Он взмахом руки велел садиться, прошёл к пульту, остановился и несколько секунд молча смотрел поверх голов, как смотрят на воду, стараясь понять, какая она сегодня.

За пятнадцать лет Варвара изучила все его паузы. Эта была из тех, что означали: сегодня я очень доволен собой, но делаю вид, что нет.

– Доброе утро, – сказал он негромко, и все сразу подались вперёд, потому что он всегда говорил так тихо, что для того, чтобы услышать, нужно было захотеть. – Я рад, что мы на борту. Рад, что море, то есть река, и что нам тут никто не мешает. Начнём с Чайковского, чтобы никто не успел испугаться Шнитке. Серенада, первая часть. С первого такта, без вступления. Я хочу услышать, как вы дышите, а не как вы считаете.

Он поднял руки, и взгляд его скользнул по оркестру, по каждому по очереди, слева направо, быстро, привычно: по Лаврентьеву, по Юлии, по вторым скрипкам, по виолончелям, по контрабасу. И пропустил ту секцию, где сидели альты. Не то чтобы пропустил совсем, а как бы проскочил, как проскакивает взгляд человека, которому в окне показали что-то, на что смотреть неловко.

Варвара смотрела прямо на него и ждала. Он не поднял глаз. Он делал это блестяще: так, чтобы никто не мог сказать, что он нарочно.

– Вы с ним пятнадцать лет были женаты, – прошептала Тамара, не шевеля губами. – Он на тебя не смотрит всем затылком.

– Тома.

– Я молчу.

Он дал вступление, и оркестр заиграл.

Серенада Чайковского начинается так, как начинается разговор в большой семье, когда все сели за стол, а первый тост ещё не сказан: медленно, торжественно, чуть тяжеловато, пока струнные собираются и находят общий ритм, и только потом, постепенно, всё распускается и идёт вширь. Варвара любила это начало. В нём у альтов была работа, которую никто не слышал, но без которой остальные звучали бы как мебель без обивки: ровный, плотный пласт посередине, на который опираются и верхи, и низы. Она играла и слышала, как Лена с Ниной чуть-чуть спешат во вторых скрипках, как Фёдор Кузьмич ведёт виолончели чуть тяжелее, чем нужно, как контрабас Гоши ложится на всё это ровным низким полом. Всё шло неплохо. Пока Аркадий не остановил оркестр.

– Стоп, – сказал он. – Спасибо. Вторые скрипки.

Лена и Нина выпрямились так синхронно, будто в них одновременно ткнули линейкой.

– У вас такое ощущение, что вы идёте в магазин, а нужно идти на свидание, – сказал Аркадий мягко. – Вы торопитесь. Вам кажется, что вас кто-то ждёт на выходе, но на выходе никого нет. Ещё раз с седьмого такта, пожалуйста. И не сжимайте смычок, он вас не обидел.

Оркестр засмеялся коротко и вежливо, как смеются на репетициях, когда шутит дирижёр. Лена покраснела, Нина опустила глаза, и Варвара подумала, что обе они ничего плохого не сделали, но платят за чужое настроение, потому что

настроение у Аркадия сегодня было отличное, а в такие дни он любил острить. И острил он всегда на ком-то, как будто без жертвы шутка не считалась.

Они сыграли с седьмого такта. И ещё раз. И ещё. Он останавливал оркестр то из-за духовых, то из-за виолончелей, то из-за контрабаса, делал замечания на ходу, коротко и точно, и в какой-то момент в его работе проступило то, за что Варвара когда-то в него влюбилась: он слышал всё сразу. У него было такое ухо, которое улавливало одну сбившуюся долю в тридцати инструментах, и хуже всего было то, что в девяти случаях из десяти он оказывался прав.

– Альты, – сказал он на четвёртой остановке, глядя в партитуру. – Вы немного позади. Я не прошу вас обгонять никого, но хотелось бы, чтобы вы знали, где находится ритм.

Варвара не шелохнулась. Она сидела ровно на доле, это она знала точно, потому что считала про себя и слышала, как ложится её партия на фоне виолончелей. Олег Витальевич покосился на неё, потом на Свету, потом, видимо, решив, что виноват он, виновато убрал из кармана семечки.

– Это не ты отстала, – прошептала Тамара. – Это он вчера лёг поздно.

– Он слышит, что мы на доле.

– Тогда зачем...

– Чтобы не смотреть на меня, – сказала Варвара. – Если он скажет «Миронова», надо будет посмотреть. А если «альты», можно в ноты.

Она сказала это тихо, почти без интонации, но Тамара вдруг замерла с поднятым смычком и посмотрела на неё долгим сочувственным взглядом, каким смотрят на друзей, когда вдруг понимают, что они говорили серьёзно.

Это была их старая привычка, которую Варвара за пятнадцать лет брака научилась распознавать, как распознают по запаху, что в соседней квартире пригорело молоко. Когда Аркадию было что-то неприятно, он начинал говорить о нём безлично, в третьем лице, с некоторой отстранённостью: «Кто-то опять оставил чашку на партитуре». «Кто-то забыл купить ноты». «Кому-то стоило бы вовремя сказать, что мы приглашены на ужин». Она долго не понимала, что этим «кто-то» всегда была она. Поняла только на седьмом году, а на двенадцатом научилась отвечать: «Кто-то очень сожалеет». И на этом всё заканчивалось, потому что Аркадий не умел спорить с такими словами, как не умеет драться с туманом.

После Чайковского он дал оркестру пять минут отдыха. Люди поднялись, закашляли, зашелестели нотами, кто-то выскочил в коридор, кто-то налил себе кипятка из самовара. Фёдор Кузьмич подошёл к столу, взял огурец, откусил, замер, медленно прожевал и сказал в пространство:

– Это что?

– Угличские, – ответила Тамара. – Зинаида Петровна принесла.

– Где она?

– Ушла.

– Как ушла? Я хочу жениться.

Аркадий в это время стоял у рояля. Юлия сидела на табуретке и смотрела в ноты, а он что-то говорил ей вполголоса, наклонившись, и рука его лежала на крышке рояля рядом с её локтем. Говорил он мягко, спокойно, без той иронии, которой пользовался с оркестром. Варвара поймала себя на том, что наблюдает, и отвернулась. Но тут же снова подняла глаза, потому что отворачиваться, когда за тобой смотрят все остальные, было ещё хуже.

– Смотри, как он ей рукав поправил, – сказала Тамара шёпотом.

– Не смотрю.

– А я смотрю. Нет, ну ты видела? Он ей рукав поправил, которого не было! Рукав на сарафане отсутствует как класс!

– Тома.

– Хорошо, не рукав. Лямку.

– Тамара.

– Я ничего. Я просто констатирую.

Варвара посмотрела на другой конец комнаты. Пряхин стоял в углу с папкой и что-то писал на листе, и лицо у него было такое сосредоточенное, будто он составлял завещание. Лаврентьев стоял у окна спиной к залу и смотрел на воду, держа скрипку на локте, как держат ребёнка. Маргарита Эдуардовна, не меняя позы, наблюдала за Аркадием и Юлией, и если кому-то могло показаться, что она просто смотрит на

оркестр, то Варвара знала, что нет: глаза у неё были как у человека, который запоминает.

Под столом шевельнулось что-то серое. Боцман, невесть как оказавшийся в комнате, прошёл по ковру с достоинством, обошёл вокруг табуретки пианистки, оглядел её туфли, чихнул и без разрешения вспрыгнул на крышку рояля, как на собственный подоконник. Юлия вздрогнула. Аркадий обернулся.

– Это что? – спросил он.

– Это Боцман, – сказал Фёдор Кузьмич с набитым ртом. – Судовой кот. Он тут хозяин.

– Я не возражаю против хозяев, – сказал Аркадий, – но в таком случае пусть он хотя бы не сидит на инструменте. Кто-нибудь, будьте любезны.

Все посмотрели на Пряхина, потому что кто-нибудь, как правило, означало его. Пряхин положил папку, подошёл к роялю, протянул руки, и кот посмотрел на него взглядом человека, которому предлагают подпись под сомнительным договором. Потом он зашипел. Негромко, но так отчётливо, что Пряхин отдёрнул руки и отступил на шаг.

– Я, пожалуй, не буду, – сказал он. – У меня аллергия.

– На кошек? – спросил Аркадий.

– На конфликты.

Боцман дождался, пока Пряхин отойдёт на безопасное расстояние, лениво спрыгнул с рояля и, ни на кого не глядя, пошёл через всю комнату к двери, у которой стоял Савелий

Исаевич с пюпитрами. Подойдя, он обошёл его ноги, потёрся боком о штанину, поднял морду и долго, с серьёзным видом, нюхал его пальцы.

– Тише, тише, – смущённо сказал Савелий Исаевич. – Ну, что ты.

Он поправил очки и торопливо спрятал руки за спину, а Боцман посидел ещё мгновение у его ног и ушёл, и Варвара, которая видела всё это краем глаза, не придала сцене никакого значения. Кот есть кот. Он любит тех, кто пахнет лаком и сосной.

Аркадий вернулся к пульту.

– Моцарт, – сказал он. – Двадцать первый, андантино. Юленька, начинайте.

Юленька. Раньше он говорил так только одному человеку на свете, и этим человеком была не Варвара, а мать, которая жила в Питере и которую он навещал дважды в год. Оркестр сел, и по комнате пронеслось что-то вроде вздоха: не слышного, а скорее ощутимого, как лёгкий сквозняк. Лена с Ниной переглянулись. Фёдор Кузьмич перестал жевать. Олег Витальевич вынул семечку изо рта и положил в карман. А Юлия, не поднимая глаз, положила пальцы на клавиши и заиграла.

Андантино Моцарта начинается с оркестра, потом входит рояль, и вся прелесть этой минуты в том, что рояль не вступает, а как бы возникает из тишины, будто был там всегда. Юлия сыграла так, что Варвара, которая ожидала, честно го-

воря, чего угодно, от сухой школьной аккуратности до претенциозных пауз, забыла собственные ожидания. Она играла ровно, просто, почти без украшений, и от этого звучало лучше, чем у многих, кто украшает. Спина её была прямая, плечи расправлены, а пальцы ложились на клавиши так, словно перебирали что-то хрупкое и очень дорогое.

– Хорошо, – сказал Аркадий. – Ещё раз. Фраза должна дышать с вашей левой рукой, а не с правой. Левая ведёт.

Он подошёл, сел на краешек табуретки рядом с ней и показал. Сыграл несколько тактов сам, мягко, одной рукой, потом положил ладонь на её запястье, чтобы направить. Ладонь он держал секунд пять или шесть, дольше, чем нужно для показа, и в этот момент в комнате стало так тихо, что слышалось, как звенит люстра. Юлия покраснела до ушей. Лена и Нина смотрели в ноты. Пряхин записывал. Лаврентьев стоял у окна. Маргарита Эдуардовна не шевельнулась.

– Так, – сказал Аркадий, поднимаясь. – Правильно. А теперь вместе.

– Он ей руку держит, – прошептала Тамара. – Ты видела?

– Видела.

– И тебе?

– Мне нормально.

– Врёшь.

– Вру, – согласилась Варвара. – Но тихо.

Они доиграли андантино, потом аллегро, потом ещё раз прошли переход, и к часу дня оркестр успел и устать, и

разогреться, и слегка разозлиться, и Аркадий, довольный до неприличия, объявил:

– Шнитке.

И это слово прозвучало как команда «занять места».

Шнитке в этой программе был не самой сложной вещью, но самой странной: оркестр играл её редко, и каждый раз кто-нибудь по дороге терял нить. Начиналось всё с одинокой фразы скрипки, потом вступали остальные, потом всё это раздвигалось, ломалось, и в какой-то момент казалось, что музыка идёт по краю обрыва, а оркестр изо всех сил пытается удержаться. Соло было у Лаврентьева, на полторы страницы, самое выразительное место всей пьесы, и все знали, что он играет его так, как не играет больше никто.

Аркадий поднял руки. Лаврентьев приставил скрипку к плечу, закрыл глаза, и в комнате разлился звук.

Варвара слышала его уже много раз и каждый раз удивлялась. Звук у этой скрипки был глубокий и тёплый, немного приглушённый, как свет сквозь абажур, и в нём слышалась какая-то усталость, нажитая за триста лет. Лаврентьев вёл фразу осторожно, без нажима, и казалось, что он не играет, а рассказывает вполголоса что-то, о чём никому нельзя говорить громко.

Он доиграл, оркестр вступил, они прошли страницу, потом ещё одну, и Аркадий вдруг остановил всех поднятой рукой.

– Игорь, – сказал он. – Одну секунду.

Лаврентьев опустил скрипку.

– Вы когда в последний раз меняли струны?

– В августе, – сказал Лаврентьев. – Савелий Исаевич менял.

– В августе, – повторил Аркадий. – И как вам?

– Нормально.

– Нормально, – сказал Аркадий медленно, и слово это он будто примерял, поворачивал так и этак, как поворачивают чужую монету. – Да. Нет. Ничего. Давайте ещё раз с начала соло.

Но продолжил он не сразу. Секунды три, а может, и пять, он просто смотрел на скрипку, которая лежала на плече у Лаврентьева, и в его взгляде было то выражение, какое Варвара видела у него несколько раз за пятнадцать лет: когда он слышал в зале ноту, которую не слышал никто, кроме него. Брови сошлись, губы чуть поджались, глаза словно слегка потемнели, и сам он как будто перестал находиться в комнате.

– Чего это он? – прошептала Тамара.

– Не знаю.

– У него лицо, как будто он понял, что гладильную доску оставил включённой.

– Утюг.

– Какая разница.

Варвара оглянулась. В глубине комнаты, у двери, стоял Савелий Исаевич с пюпитром, прижатым к груди, и на ли-

це его не было ничего, кроме обычной внимательной вежливости. Он поправил очки двумя пальцами и опустил глаза. Лаврентьев тоже на секунду метнул взгляд в его сторону, но так быстро, что можно было принять за случайность. Маргарита Эдуардовна у окна чуть подалась вперёд.

– Ещё раз, – сказал Аркадий, приходя в себя. – Прошу.

Лаврентьев сыграл соло снова, потом ещё, и оркестр прошёл страницу, потом вторую, и наконец дошёл до места, ради которого Варвара весь утренний час сидела над третьим тактом. Это было короткое вступление альтов, три такта в унисон со вторыми скрипками, а потом резкий скачок вверх. Она сделала глубокий вдох, взяла двойную ноту вторым и четвёртым пальцами и сыграла.

Получилось. Скачок лёг ровно, без дёрганья, без подтягивания, словно так и было написано, и звук вышел чистый, плотный, как будто она не играла, а выкладывала его по ниточке. Олег Витальевич, сидевший слева, одобрительно качнул головой. Света улыбнулась краем рта.

– Вот, – сказал Аркадий, не глядя в её сторону и не отрываясь от партитуры. – Теперь да. Что вам мешало с первого раза?

«Вам» было множественное, обращённое к секции, но взгляд его при этом в очередной раз не сдвинулся с партитуры ни на миллиметр. И Варвара вдруг поняла, что, как ни странно, ей это приятно: она сыграла хорошо, он не мог этого не заметить, а то, что он сказал это безличным «вам», зна-

чит, что заметил, что надо было сделать вид, будто нет.

– Второй раз, – прошептала Тамара восторженно. – Он сказал «второй раз»! Тот самый капитан! Ты поняла? Всё сошлось!

– Он не говорил «второй раз», он сказал «теперь да».

– Это одно и то же.

– Тамара, пожалуйста.

– А ты ещё скажи, что не рада!

Варвара не сказала. Она смотрела на собственную руку, которая только что так легко взяла двойную ноту, и думала о том, что утром какой-то человек, которого она видела двадцать минут в жизни, дал ей совет, о котором не знал, что дал. И что человек этот, вероятно, сейчас стоит в рубке или на причале и ни о чём таком не думает, а думает о канатах, о фарватере и о том, не забыла ли повариха купить соль. И что это, пожалуй, самое лучшее, что можно подумать о человеке: что он делает своё дело и не считает нужным об этом рассказывать.

К половине второго репетиция закончилась. Аркадий опустил руки, обвёл оркестр усталым взглядом, в котором, впрочем, не было и тени усталости, и сказал:

– Благодарю. Вечером в семнадцать тридцать выезд. Автобус ждать не будет. Игорь, зайдите ко мне после обеда, пожалуйста.

Он взял со стойки забытый карандаш, повернулся и пошёл к двери, и по дороге Пряхин пристроился рядом и начал что-

то быстро говорить, держа папку на уровне груди, как щит. Аркадий слушал недолго.

– Потом, Вадим, – сказал он. – Потом.

– Но это срочное...

– Всё срочное. Потом.

Дверь закрылась. Пряхин остался стоять посреди комнаты, и лицо у него было бледное, с жёлтым оттенком, как у человека, которому только что сообщили неприятную цифру. Он постоял, шевеля губами, потом механически поднял с пола чью-то карандашную стружку, повертел в пальцах, положил в карман и вышел.

Музыканты зашевелились, заговорили в полный голос, и комната, где только что было тихо, снова загудела, на этот раз как улей, у которого убрали дым. Фёдор Кузьмич пробивался к блюду с пирожками. Лена и Нина обсуждали, будто бы шёпотом, а на самом деле на всю комнату, какая странная сегодня была репетиция. Стас, воспользовавшись свободой, надул щёки и с шумом выдохнул.

Лаврентьев убирал скрипку. Делал он это очень медленно, обеими руками: протёр, обмотал мягкой тканью, уложил в гнездо, закрыл футляр и защёлкнул оба замка, сначала правый, потом левый. Когда он выпрямился, перед ним стояла Маргарита Эдуардовна. Она ничего не сказала, только посмотрела на него тем самым комиссионным взглядом, и он вдруг сжал ручку футляра так, что побелели костяшки пальцев. Потом кивнул, будто в ответ на вопрос, которого никто

не слышал, и пошёл к выходу.

Савелий Исаевич семенил за ним с папкой нот.

– Пойдём, – сказала Тамара, дёргая Варвару за рукав. – Там пирожки остынут. Зинаида Петровна сказала, что ждёт нас в столовой, а у меня от этих нервов такой аппетит, что я бы сейчас съела весь Углич.

– Мне надо убрать альт.

– Убери и пойдём.

Варвара уложила инструмент, закрыла футляр, подошла к окну и на секунду остановилась. Внизу, на причале, под гладкой серебряной стеной борта, стоял высокий человек в тёмном кителе. Руки он держал за спиной, фуражка была чуть сдвинута на затылок, и он разговаривал с каким-то мужчиной в сером плаще и с папкой, кивал, слушал, потом коротко что-то отвечал. Потом, будто почувствовав чей-то взгляд, поднял голову и посмотрел вверх, на окна кают-компании. Варвара не успела отойти.

Он, кажется, кивнул. Совсем немного, на полсантиметра, как кивают знакомому, которого встретили в метро и не уверены, нужно ли здороваться.

Она кивнула в ответ, и в ту же секунду ей стало неловко, потому что за её спиной раздался голос Тамары, который она ни с каким другим не спутала бы:

– Ага.

– Что «ага»?

– Ничего, – сказала Тамара. – Пирожки остынут.

Глава 3

Зал угличского Дома культуры оказался таким, каким и должен быть зал в городе, где люди ходят на концерты в лучших блузках: четыреста откидных кресел с потёртым бархатом, паркет, который натирали, судя по запаху, не позже вчерашнего дня, и сцена, на которую оркестр поместился с трудом. Фёдору Кузьмичу пришлось сесть боком, потому что ножка стула не умещалась между пюпитром и кулисой, а Гоша Пименов поставил контрабас почти в самую занавеску и всю первую половину вечера играл, поглядывая на зал через плечо, как человек, который ждёт автобус. Перед началом вышла женщина из городской администрации в бордовом костюме, с папкой, и сказала в микрофон, что Углич рад гостям, что Углич помнит свою историю и что в этом зале в разные годы выступали артисты, фамилии которых она сейчас перечислит. Перечисляла она минуты три. Аркадий стоял в кулисе, смотрел в потолок с тем вежливым выражением лица, которое у него получалось лучше всего на свете, и один раз тихо, одними губами, сказал Варваре, стоявшей рядом с альтом в руках: «Если она дойдёт до Козловского, мы пропали». Это было первое, что он сказал ей напрямую за два дня. Она даже не успела придумать ответ, а он уже отвернулся.

Играли хорошо. Это Варвара поняла ещё на Чайковском, когда у виолончелей получилось то, что на утренней репе-

тиции не получалось, а вторые скрипки, наконец, перестали торопиться. Лена с Ниной сидели прямые, как спички, и смотрели на дирижёрские руки с таким усердием, что на лбу у Лены выступили капли пота. Шнитке прошёл на одном дыхании. Третий такт Варвара взяла вторым и четвёртым пальцами и ничего не почувствовала: рука сама встала куда надо, а голова в это время занималась совсем другим, она думала, какой ужас, если сейчас где-то в зале сидит капитан Рябинин и слышит, как у неё получилось. Но капитана в зале не было. Были пожилые женщины с гладиолусами, которые клали цветы на колени и охотно хлопали между частями, был мальчик лет десяти, которого привели насильно и который сначала скучал, а потом на Шнитке вдруг сел очень ровно и больше не шевелился, и был старик в первом ряду, заснувший на Моцарте и проснувшийся от аплодисментов громче всех.

Лаврентьев сыграл соло так, что в зале на несколько секунд никто не дышал. Варвара, сидя в трёх метрах от него, смотрела, как он стоит с закрытыми глазами, чуть покачиваясь, как у него ходит кадык, и думала, что человек этот, наверное, всю жизнь просто хотел играть, а всё остальное на него навалилось потом само. Аркадий опустил руки и не двигался, пока последний звук не ушёл куда-то под потолок. Потом поклонился первым скрипкам, потом Юлии, которой подарили две охапки астр и которая смутилась так, что уронила одну, потом залу.

После концерта, когда оркестр выходил через боковую дверь к автобусу, к Варваре подошла женщина в сиреневой кофте, лет шестидесяти, с красным лицом и сумкой, из которой торчал хвост какой-то зелени.

– А вы на этом играли, на большой скрипке? – спросила она. – Я думала, это скрипка, только мужская. Голос у неё такой... – она поискала слово. – Усталый. Как будто человек пришёл с работы и рассказывает.

– Альт, – сказала Варвара.

– Вот я и говорю. Мужа моего вспомнила, – сказала женщина и, ничего больше не объяснив, ушла.

Варвара смотрела ей вслед, пока Тамара не дёрнула её за рукав: «Автобус». Потом они долго ехали по тёмным улицам, и Тамара всю дорогу говорила что-то про «усталый голос», а Фёдор Кузьмич на заднем сиденье вполголоса пел «Из-за острова на стрежень» в виолончельной аранжировке, то есть хмыкал басом и водил рукой, как смычком.

На теплоходе в тот вечер Зинаида Петровна накрыла ужин не в столовой, а в кают-компании, потому что, как она выразилась, в столовой людям положено есть, а здесь им положено отдыхать. Она сдвинула два стола, застелила их белыми скатертями с вышивкой по краю, поставила в центре огромную миску картошки с укропом, рядом блюдо с селёдкой, посыпанной луком, потом грибы, потом нарезанное сало с чесноком, потом, конечно, огурцы, те самые, угличские, в большой эмалированной миске, где они лежали, как лягуш-

ки на лилиях. Пирожки пришли последними, на двух подносах, и вместе с ними пришло молчаливое понимание, что ужин вышел на славу. Теплоход к этому времени уже отчалил: оркестр почувствовал это по лёгкому толчку и по тому, как за окнами вдруг пошли огни, один за другим, и город остался позади, уменьшаясь и теряя подробности.

– Ну, что, – сказал Фёдор Кузьмич, когда все поели и первое оживление спало. Он встал, вытер бороду салфеткой и обвёл стол торжественным взглядом. – По традиции. Кто не знает, а такие у нас, я вижу, есть, – он покосился на Свету Ким, – капустник у нас обязателен после первого концерта. Правила простые: поют только про начальство, начальство слушает до конца и не обижается, а что на «Герде» спето, то с «Герды» не уходит. Всем ясно? Вадим Ильич, вы обязаны сидеть.

– Я не планировал, – сказал Пряхин.

– Вот поэтому и сидеть.

Варвара знала эту традицию так же, как знала, в каком порядке раскладывают ноты на пюпитре: оркестровый капустник, хоть и называется как-то несерьёзно, всегда служил клапаном для пара. Три-четыре дня музыканты терпят друг друга, дирижёра, директора и расписание, а потом, после первого концерта, когда спадает самое тугое напряжение, садятся вечером за стол, наливают, кому что положено, и вслух говорят всё то, что до этого говорили шёпотом по углам. Только говорят это в рифму, под Моцарта, под Бетховена

или под «Турецкий марш», так что формально никто никого не оскорбляет, а всё сказанное можно потом объяснить стилистическими особенностями жанра. Аркадий прошлые годы сидел в первом ряду, в кресле посередине комнаты, и слушал, милостиво улыбаясь, и у Варвары, которая в этом участвовала много раз, всегда было ощущение, что это единственный вечер в году, когда он позволяет себе быть смешным.

В этот раз он вошёл, когда все уже расселись, и сел там, где ему показали: в кресло с высокой спинкой, поставленное посреди комнаты спиной к самовару, так, чтобы был виден всем. Рядом на банкетке поместилась Юлия, чуть позади, у стены, там, где ей, видимо, было спокойнее. Маргарита Эдуардовна заняла кресло у окна, то самое, в котором сидела на репетиции, и положила на колени ту же трость. Лаврентьев пришёл последним, с красным футляром под мышкой, и сел на стул возле двери, а футляр поставил у ног и придвинул его коленом. Савелий Исаевич пристроился рядом, но не на стуле, а на чём-то вроде низкого табурета, и достал откуда-то из-под полы небольшой, потёртый, видавший виды аккордеон, который Варвара раньше никогда не видела.

– Это Савелий Исаевич у нас по гармонной части, – сказала Тамара ей на ухо. – У него отец был баянистом, он это в крови носит. Но только на капустниках, так что не вздумай просить в другое время, обидится.

– Я не просила.

– Вот и не проси.

Первым вышел Фёдор Кузьмич с виолончелью. Олег Витальевич, у которого за плечами нашлась консерваторская фортепианная юность, сел к роялю, потому что Юлия, по её собственным словам, «не имела права» аккомпанировать на собственных руках, а Юлию заменить было некем, и он справился с этим так просто и так невозмутимо, что все догадались: он это делал не в первый раз. Стас достал валторну. Лена с Ниной взяли скрипки. Кристина, флейтистка, стояла в уголке с флейтой в руках и дрожала, потому что ей предстояло петь, а петь она не умела. Тамара вышла вперёд и объявила, что первым номером программы идёт куплет, посвящённый руководству оркестра, и что слова написаны коллективом авторов, которые просят не бросать в них ничем тяжёлым.

Они заиграли «Турецкий марш». Только играли его так, как играют в семейном кругу: быстро, шумно, с перебором, и Савелий Исаевич выдавал на аккордеоне такие переливы, что невольно хотелось притопывать. Тамара встала, опёрлась на спинку стула, откашлялась и запела, неожиданно высоким чистым голосом:

– Наш маэстро на репетицию

Входит ровно в пять минут.

Ровно столько, чтоб мы поняли,

Как его на свете ждут!

Комната взорвалась. Хлопали, стучали ложками по столу, Фёдор Кузьмич заорал: «Ай да Тамара!» Аркадий в своём кресле поднял обе руки, сдаваясь, и засмеялся: не вежливо, а по-настоящему, откинувшись головой на спинку. Варвара, которая не видела его смеющимся лет пять, вдруг поймала себя на том, что смотрит на него слишком внимательно, и перевела взгляд на скатерть.

Дальше пошло веселее. Фёдор Кузьмич, выйдя вперёд с видом оперного баса, затянул про директора:

– Наш директор, Вадим Ильич,

Папку носит у груди.

Что ни спросишь про зарплату –

Говорит: «Потом, приди».

Пряхин, сидевший у двери на диване, выдавил из себя что-то вроде улыбки, которая тут же куда-то съехала, и сделал вид, что вытирает очки. Аркадий хохотал громче всех, а Варвара, сидевшая через стол, видела, как Пряхин смотрит на него в эту секунду: не на оркестр, не на Фёдора Кузьмича, а на Аркадия. Взгляд был быстрый и странно сухой, без обиды, и она подумала, что, пожалуй, зря не обратила на это внимания раньше: человек, которого высмеивают, смотрит

на тех, кто его высмеивает, иначе.

Потом Лена и Нина, держась за руки, спели про меценатку:

– Меценатке нашей слава!

Дай ей Бог всего, всего.

Нам бы денег до получки –

И не надо ничего.

Маргарита Эдуардовна у окна чуть заметно улыбнулась уголками губ, постучала тростью по полу, что, вероятно, означало аплодисменты, и сказала негромко, но так, что все услышали:

– До получки, голубушки, я бы вам тоже не отказала. Но у меня правило: сначала концерт, потом деньги.

Опять смех, на этот раз облегчённый, и Фёдор Кузьмич с видом победителя поклонился в её сторону. Кристина, наконец, пискнула что-то про кота, и все согласились, что это не пение, а подвиг, но слова оказались хорошие:

– Кот Боцман вскочил на рояль

И сидит, как адмирал.

Дирижёр: «Убрать!» А Пряхин

Подошёл и убежал.

Теперь смеялись над Пряхиным и аккордеон Савелия Исаевича выдал такую плясовую трель, что стёкла в иллюминаторах задрожали. Сам Боцман, как выяснилось, находился тут же, в кают-компании, в углу на банкетке рядом с Юлией, и когда его имя прозвучало, он открыл один глаз, оглядел публику и снова закрыл, с видом человека, которому не интересны такие мелкие почести. Пряхин сидел, обхватив папку, и вдруг, когда смех поутих, вскочил, пробормотал что-то про «срочный звонок» и вышел. Дверь тихо закрылась.

– Обиделся, – сказал кто-то.

– Он в ресторане обедать не может без папки, – сказала Нина. – Чего обижаться.

Дальше пошло то, что в оркестре называют «обязательной программой, в которой кто-нибудь обязательно перегнёт»: каждый участник, подогретый теми ста граммами, что выдала Зинаида в качестве особого поощрения «за концерт», начинал чувствовать себя поэтом. Стас пропел что-то неразборчивое про гобоисток. Олег Витальевич, не вставая из-за рояля, сымпровизировал куплет про буфетчицу Любу из Ярославля, с которой у оркестра были давние счёты. Кто-то спел про валторнистов, и Стас, красный, как рак, пообещал отомстить. Всё шло так, как бывало обычно, и Варвара, которая сначала сидела в углу, прижавшись к спинке стула, понемногу расслабилась, оттаяла, и даже попросила у Тамары кусок сала с чесноком, за что получила одобрительный тол-

чок локтем.

А потом поднялся Гоша Пименов.

Контрабасист он был хороший, надёжный, но мало пил и поэтому быстро хмелел, а хмелея, вдруг становился разговорчивым и немного обиженным на весь мир. Он встал, как всегда нескладный, длиннорукий, с лицом, которое вдруг стало чужим и красным, и сказал басом, на который никто не рассчитывал:

– Я тоже куплет. Мой.

– Гоша, – сказала Тамара предупреждающе.

– Мой. – Он поднял руку. – Под «Турецкий».

Олег Витальевич, пожав плечами, взял аккорд. Гоша затянул, не то чтобы пел, а скорее вытягивал слова, как вытягивают гвозди:

– Дирижёр наш любит строго,

Но ученицу любит строже.

Через стенку, через стенку

Слышно всё, как...

Договорить он не успел. Фёдор Кузьмич, сидевший к нему ближе всех, одним движением накрыл его плечо огромной ладонью и просто посадил на место, тихо и без грубости, как сажают ребёнка. Гоша затих, осёкся, посмотрел на свои руки, будто не понимая, чьи это.

– Всё, – сказал Фёдор Кузьмич. – Хорошо. Хватит, Георгий.

В комнате стало так тихо, что было слышно, как работает машина. Юлия, сидевшая на банкетке рядом с Боцманом, встала, не поднимая глаз, аккуратно поправила сарафан, подошла к двери и вышла. Кот спрыгнул следом и скрылся в коридоре. Лицо Аркадия не изменилось, только улыбка осталась на нём, как забытая табличка, к которой уже никто не имел отношения. Маргарита Эдуардовна смотрела на него, не отрываясь. Лаврентьев смотрел на футляр.

А Варвара, сидевшая через два стула от Гоши, вдруг отчётливо услышала за стеной своей каюты вчерашнее кашлянье, короткое, с оттяжкой, и подумала, что вот так выглядит, наверное, настоящее унижение: когда в комнате человек двадцать, и все знают, и никто не говорит вслух. Ей было невыносимо жалко девочку. Это удивило её саму: она готова была к злости, к усмешке, к ехидству, но не к жалости.

– Куплет про кота! – громко сказала Тамара. – Кристина, повтори! Это же шедевр!

– Я уже пела, – пискнула Кристина.

– Тогда пой ещё, потому что шедевры надо слушать по два раза.

Но было поздно, нужный градус смеха утерян, и всё потекло куда-то вниз, в неловкие разговоры, в шарканье стульев. Тамара обернулась к Варваре и, стараясь, чтобы не слышал никто, прошипела:

– Иди. Ты должна.

– Куда?

– Петь. Мне нужно что-то, что всех вернёт. Ты же умеешь.

– Тома, я не писала.

– Напиши.

– Сейчас?

– Пока я Гошу в чувство привожу. На салфетке. Ты в консерватории всем стихи писала, я помню, ты на экзамене по гармонии сдала ямб.

– Это было двадцать лет назад.

– Ямб не стареет, – сказала Тамара и, схватив со стола бумажную салфетку, всунула её Варваре в руку вместе с карандашом, который тоже неизвестно откуда выудила.

Что на этих салфетках пишется в такие минуты, объяснить трудно. Варвара смотрела на белый квадрат, на дрожащие огоньки в иллюминаторе, на лица людей, которые не знали, куда смотреть, и вдруг вспомнила лицо той женщины в сиреневой кофте: «Голос у неё такой усталый. Как человек пришёл с работы и рассказывает». И то, как Аркадий смотрел на скрипку на репетиции. И как у Лены вспотел лоб. И как Юлия уронила астры. И первые строчки сложились сами, как складываются иногда, если дать им немного места, глупые, неровные, но свои.

Минут через пять она встала. Колени подрагивали, и ей пришлось опереться на спинку стула.

– Я тоже, – сказала она. – Если можно. Короткий. Олег Ви-

тальевич, у вас найдётся что-нибудь вроде «Маленькой ночной», только помедленнее?

Олег Витальевич, не задавая вопросов, сыграл вступление, ту самую тему, которую знает каждый, даже тот, кто не знает, что знает её. Он сыграл её не торжественно, а как-то по-домашнему, чуть лениво, и Савелий Исаевич подхватил басами на аккордеоне. Варвара набрала воздуха и, глядя куда-то поверх голов, в тёмное окно, запела. Голос у неё был не сильный, низкий, с лёгкой хрипотцой, он совсем не годился для песен, но для этой подходил как раз:

– Мне и в жизни, и в оркестре

Партия вторая:

Первым – розы, мне – гармония.

Ничего, играю.

В комнате кто-то засмеялся, неуверенно, ещё не понимая, можно ли. Варвара почувствовала, как у неё горят уши, но продолжала, потому что останавливаться было уже поздно:

– Зато из второго ряда

Всем затылки видно.

Что на них у вас написано –

Мне, ребята, стыдно.

Последнее слово она не пропела, а почти проговорила, развела руками, и на секунду в кают-компании повисла тишина, такая плотная, что можно было бы резать. Потом кто-то хлопнул ладонью по столу, и все заговорили сразу. Фёдор Кузьмич заревел «Браво!» басом, Лена с Ниной подпрыгивали на стульях, Света Ким беззвучно смеялась, закрыв рот ладонью, а Тамара, раскрасневшаяся, с блестящими глазами, хлопала громче всех и повторяла: «Ямб! Я же говорила, ямб!» Олег Витальевич сыграл ещё один аккорд в знак окончания. Даже Маргарита Эдуардовна у окна несколько раз стукнула тростью по паркету, то ли одобряя, то ли требуя тишины.

– Ещё! – закричал кто-то.

– Ещё нет, – сказала Варвара, потому что голос у неё всё-таки дрогнул. – Второй куплет у второй партии не предусмотрен. Он всегда в повторении.

Это вызвало новый взрыв хохота, и она, воспользовавшись шумом, села на место и первым делом налила себе воды из графина, потому что рука не слушалась. Лена протянула через стол огурец, как награду. Нина шепнула: «Это было потрясающе». Фёдор Кузьмич наклонился и пробасил: «С меня шоколадка».

Она подняла глаза и увидела, что на неё смотрит Аркадий.

Он сидел в том же кресле, чуть подавшись вперёд, с локтями на коленях, и смотрел на неё так, как не смотрел очень

давно: не мимо, не сквозь, не поверх, а прямо, не мигая, долго, с таким серьёзным, каким-то незащищённым лицом, что на секунду Варвара забыла, кто они друг другу. Улыбки на нём не было, но и злости тоже. Просто внимательное лицо человека, который что-то услышал и теперь пытается понять, что именно. Она вспомнила, как давно, в первый год, он однажды сказал ей на кухне, помешивая чай: «Ты играешь, как будто извиняешься». Ей тогда было двадцать шесть. Она так обиделась, что три дня с ним не разговаривала. А потом долго думала, что он, вероятно, прав.

Секунд десять они смотрели друг на друга, и это было не про прошлое и не про Юлию, а про что-то третье, чему у неё не было названия. Потом он первым отвёл глаза и встал.

– Благодарю, – сказал он в пространство, и голос его прозвучал как обычно, ровно и тихо. – Очень содержательный вечер. Завтра в десять, пожалуйста, без опозданий. Спокойной ночи.

Он вышел. Через минуту, не прощаясь, вышла Маргарита Эдуардовна, и дверь за ней закрылась так тихо, что никто не заметил. Лаврентьев ещё посидел, обхватив футляр, и ушёл вместе с Савелием Исаевичем, который семенил рядом, неся аккордеон в обеих руках, как ребёнка. Остальные потихоньку рассасывались: кто допивал чай, кто убирал посуду, кто остался помочь Зинаиде, которая появилась в дверях и сразу всё поняла, потому что сказала только: «Ладно, ладно, садитесь, я сама», что означало «уходите немедленно».

Варвара вышла на палубу подышать.

Ночь была тёплая, безветренная, с тем густым влажным запахом, какой бывает на воде в начале осени: тина, прохладная трава, далёкий дымок. Над рекой, вернее, над широким пространством, в которое Волга превратилась к этому времени (теплоход как раз шёл по водохранилищу, и берегов не было видно, только тёмная полоса где-то вдали, да редкие огни), стояла половина луны, жёлтая, как поджаренный блин. На корме, у перил, курили Фёдор Кузьмич и Стас, чуть поодаль стояли Лена с Ниной и шёпотом что-то обсуждали, и красные точки сигарет то вспыхивали, то гасли.

Варвара устроилась у борта, положила локти на деревянный поручень, который за день ещё не остыл, и стала смотреть на воду. Ей хотелось только одного: чтобы никто не разговаривал. Она сама не понимала, что с ней: то ли отпустило, то ли, наоборот, накатило, но внутри было так тихо, как бывает после долгого плача, хотя плакать она и не думала.

– Хороший куплет.

Она не обернулась. Голос она узнала бы и во сне.

– Спасибо, – сказала она.

Аркадий подошёл и встал рядом, тоже облокотившись на перила, на расстоянии, которое считалось у них приличным: чуть больше вытянутой руки. Лунный свет делал его лицо старше и мягче. Пахло от него чем-то знакомым, смесью дорогого одеколона и канифоли, и она вдруг подумала, что этот запах не вспоминала три года, а он, оказывается, так никуда

и не делся.

– Ты всегда умела, – сказал он. – Просто не любила на людях.

– Мне и сейчас не очень.

– Видно было, – сказал он и на секунду замолчал. Потом добавил тише, глядя на воду: – Про Гошу я ничего не знал. Он у меня сегодня первый раз такое.

Она промолчала. Ей хотелось сказать, что знал, конечно, что любой человек в этом оркестре знает, что происходит за стеной его каюты, а те, что не знают, просто не хотят знать. Но это был бы разговор, который ни к чему хорошему не приведёт, и она сказала только:

– Юле передай, что Гоша дурак.

– Передам.

Они помолчали. Фёдор Кузьмич на корме закашлялся, Стас что-то ему сказал. Девочки засмеялись одновременно, тихо, как смеются, когда боятся разбудить кого-нибудь.

И тогда Аркадий, не поворачивая головы, продолжая смотреть на воду, сказал очень негромко, так, что она едва расслышала сквозь плеск:

– Варя, мне надо тебе кое-что показать про первую скрипку.

– Про Лаврентьева?

– Про первую скрипку, – повторил он. Он не стал уточнять, что имеет в виду, и по тону она не смогла понять, говорит ли он про человека или про инструмент. – Не сегодня.

Слишком много людей.

Он выпрямился, оглянулся через плечо, быстро, коротко, на дверь, в которой минуту назад скрылись Лаврентьев с Савелием Исаевичем, потом на курящих, потом снова на неё. Лицо у него было сосредоточенное, почти такое же, как на репетиции, когда он слушал соло. Он протянул руку, коснулся её локтя, как делал много лет назад, когда хотел что-то подчеркнуть, и тут же убрал.

– Не сегодня, – сказал он снова. – Завтра, может быть, послезавтра. Я скажу.

– Аркаша, ты никогда ничего не показываешь, – сказала Варвара. – Ты только обещаешь показать.

– Покажу, – сказал он.

И ушёл. Она слышала, как он идёт по палубе: шаги ровные, неторопливые, потом стукнула дверь, и всё стихло. А она стояла у борта с тем чувством, какое бывает, когда в гостях тебе шепнули на ухо что-то важное, а повернуться и спросить уже нельзя. Что именно хотел показать ей бывший муж? Лаврентьев играл свою скрипку двадцать лет. Что в ней могло быть такого, чтобы понадобилось звать для этого альтистку, да ещё и на ночь глядя?

Она вернулась в каюту около часа, умылась холодной водой из медного крана, разделась, легла, и в этот раз Боцмана на койке не оказалось, потому что он, наверное, ушёл туда, где интереснее. Альт лежал под койкой. Теплоход гудел под полом. За стеной, у Аркадия, было тихо: ни кашля, ни ша-

гов. Она, конечно, не заснула. Часа три она лежала с открытыми глазами и слушала машину, пока та вдруг не начала меняться: гудение стало глуше, ход замедлился, где-то над головой раздались шаги и приглушённые голоса, потом что-то грохнуло, и по корпусу прошла длинная вибрация. Шлюз, догадалась Варвара: Рыбинск, кажется, так им и говорили. Вода под бортом опускалась, и вместе с ней опускался весь теплоход, а ей показалось, что и она, как-то изнутри, будто кто-то потихоньку отпускал верёвку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.